



1977-80

Любимов Ю. П.

Сегодня — 29 июня, и до премьеры пьесы Н. Эрдмана «Самоубийца», которую ставит на Таганке Юрий Любимов, осталось меньше месяца. Время поджимает. «Дальше, дальше, некогда!», «Ребята, давайте работать», — на репетициях слышится часто и с разными интонациями. Иногда Любимов прекращает репликой разговоры. Интересные, но «отвлеченные», о жизни, они на Таганке могут длиться и длиться, а иногда просьба звучит сердито. То текст исполнители знают не твердо, то вообще наступает непонятная пауза.

Такого рода остановки в работе неизбежны, без них спектакль не сложится, и режиссер знает это лучше других, но все равно — «давайте, давайте», что лучше, нежели «господа артисты», что у Любимова высшая форма иронии, означающая, что они «адресированы» и мысль их не о театре, а о разных других делах. Об этом же он скажет, когда я приступлю к нему с распросами, и пусть он и на меня рассердится, но все-таки замечу, что негодование его, слава богу, не пугает. Злости в нем нет — что ни говори, а распекаемые — его дети, много трудных дорог они прошли вместе, а такое не забывается.

Однако вернуться к премьере, которая должна состояться 24 июля, в десятилетнюю годовщину со дня смерти Владимира Высоцкого. Репетируют уже на сцене, в декорациях, и, хотя они у Давида Боровского всегда хороши и всегда по делу, таланту его все равно не успеешь удивляться. Вот и сейчас — что он придумал для квартиры гражданина Подсекальникова, его жены, теги и многочисленных соседей — есть среди них и бабушка из другой половины, такая огромная квартира, принадлежавшая в свое время кому-то из «бывших».

Так вот, Боровский завел сцену белым — томяточ, как в наших коммуналах, где на кухне всегда что-то сушилось, и если соседи жили ладно, стирку затевали по очереди, а если нет — сами догадываетесь, что могло случиться. Белье и в комнате Подсекальниковых, над кроватью Семена Семеновича и Марии Лукьяновны, и, когда действие начинается и муж среди по-



чи жену будит, злобастное это белье разговорю мешает, и приходится его то и дело с лица отбрасывать. Но это как раз замечательно, как раз то, что необходимо выразить: теснота, которая тоже раздается, эзичивает и без того не идиллическую атмосферу. Семен Семенович год как без работы — нэл, таких, как он, много, семью содержит Маши, и подневольное его положение заставляет Подсекальникова на все и на всех обижаться. Вот и теперь, разбудив жену ночью и попросив у нее ливерной колбасы: «Маш, а Маш... что у нас от обеда ливерной колбасы не осталось?» — и получить в ответ: «Знаешь, Семен, ты во мне этой ливерной колбасы столько съел, столько уби...», — он совсем заскучал, и мы ушли: «Так жить нельзя».

Что нельзя — об этом говорят едва ли не все, кто в удивительной этой пьесе введен, а некий Федя Петунин, которого мы, как и бабушку, не увидим, в финале стреляется, оставив записку: «Подсекальников прав. Действительно, жить не стоит».

Семен Семенович жить остается. Презирает себя за нерешительность (застыдиться он не смог) и от других терпит немалые оскорбления. В предсмертной записке «наверх» он много должен был изобличить, а что теперь? «Вы трус, гражданин Подсекальников», — с нафосом произносит интеллигент Аристарх Домикович, — «нужно помнить, что общее выше личного — в этом суть всей общественности». На что обвиняемый не без резона отвечает: «Что такое общественность — фабрика позугов...»



Семен Семенович, конечно, существо недостойное, раз осмелился такое произнести, да и Николай Робертович не ко времени храбр, коль скоро такой образ мысли своему герою продиктовал и себя же не оспорил. Как и следовало ожидать, за храбрость автор поплатился — ссылкой и годами вынужденного молчания, и пьеса поплатилась — после Мейерхольда ее десятилетиями никто не ставил, хотя Станиславскому она очень нравилась и он за нее хлопотал.

— Юрий Петрович (наш разговор начнется), а когда вы узнали о существовании «Самоубийцы»? — Я знал об этой пьесе давно — и от Николая Робертовича, и от Михаила Вольпина, с которым Эрдман дружил. Я даже начинал ее репетировать в начале 60-х. Мы придумали для цензуры ход, чтобы пьеса все-таки пошла. Хотели поставить на сцене сундук, из которого бы вылезали персонажи, отряхивались от нафталина, потом убегали в публичку. Убегали отдель-

ные пережитки мещанства, которые не хотели сдаваться. Но нас прикрыли — пришла запрещающая бумага. Эрдман с самого начала отнесся к моей затее скептически. Но меня поддерживало то, что он очень оживился. Незадолго до смерти он сказал: «Понятному, вы были правы, Юра. Пока живешь — надо играть». Его выбрали из игры — и как драматурга, и как поэта. Уж если Есенин говорил: «Что я? Вот Коля — это поэт...» Он был удивительно разносторонний талант. Может быть, единственный советский сатирик. Почему единственный? Потому что он указал на несообразности системы.

вует о силе личности, подобно редко кто себе позволял. О том, что Николай Робертович — фигура уникальная и драматург гениальный, которого можно сравнивать с Гоголем, от Любимова слышали многие и задолго до гласности. У него вообще есть несколько миров, о которых он не устаёт говорить, и не просто с уважением, но с почтением. Эрдман из их числа и Шингире тоже, и величает его Любимов по имени-отчеству, и с радостью спешит навстречу, увидев в стенах Таганки.

Вряд ли кто-нибудь не согласится, что преданность сама по себе достойна уважения, а предан-

гениальный образ — шинель Акакия Ананиевича. Он ее все латал и латал, а надо было шить новую. И государство, как мне кажется, с новой шинелью медлит. Так что театру есть, что делать. Не говоря уже о том, что искусство воздействует иначе, нежели самая острая публицистика. Мы с самого начала искали свою эстетику, свой репертуар — смею надеяться, и то, и другое у нас есть. Размышляя после шестилетнего отсутствия, как существовать дальше, я восставил тронуту всего Платонова — «Котлован», «Чевенгур», «Ювенальное море». Почти на этой мысли остановился — когда читал, уже циркал,

но мне мозгу не согласиться. Любимов прекрасно знает, чего хочет, и отчетливо видит то, чего добиивается. Но если удачный ход или остроумная неожиданность в замысле естественно списываются, он от них не отказывается. Практика такова, и она выше и главнее аргументов во время дискуссии и вообще разговоров... — Но почему все-таки «Самоубийца»? — О «Самоубийце» я никогда не забывал, но думал и о Платонове. Хотелось тронуть всего Платонова — «Котлован», «Чевенгур», «Ювенальное море». Почти на этой мысли остановился — когда читал, уже циркал,

Цитирует же Любимов репризы, басни, стихи, и среди других такую строфу: «Земля, земля есская гостиница для проезжающих в далекие края», письма матери, которые Эрдман подписывает «Грой мамин-сибиряк». Любимов — Щербяков: «Дима, скажи шире: «Золотая мамочка», но не сентиментально. Он этого терпеть не мог. О каком сентименте может и вправду идти речь, если со сцены звучит: «Грустный я или веселый, зависит от страны, которую я пишу, а не от места, куда люди поставили обедный стол». Письма, как того и требует порядок, из рук Сочинителя попадают в руки Капитана (сверху

уже есть, но надо, чтобы схема превратилась в живого организм, точный по эстетике и по стилю. ...А репетиция между тем идет своим чередом. Режиссер смотрит карабкашки, почти не останавливаясь, повторяет то или другое место, если уж очень необходимо или когда возникает спор. А так — правит по ходу дела, и мы слышим: «Четверка, смотрите, как идет пьеса, вам интересно (четверка на авансцене и может заглянуть к Подсекальниковым)». «Шопен (Шопенова в театре зовут именно так), пугательства приходят в голову неожиданно, а ты вырвала жену логично, и юмор про-



Юрий Любимов: «ИГРАЙТЕ ТАК, ЧТОБЫ СПЕКТАКЛЬ ЗАКРЫЛИ»

ность таланта таланту тем более и встречается не на каждом шагу. — Постановка «Самоубийцы» — осуществление давней мечты? — Нет, все сложнее. Есть люди, которые не признавали наш театр и меня в том числе. Считаю Таганку театром сугубо политическим, время которого прошло. Сейчас эпоха гласности, эпоха свободы, и нам делать, по их мнению, нечего. Не могу с этим согласиться. Разве гласность решила все проблемы, расставила все на места? Не хочешь, а вспомнишь

меня несколько обескуражил. Может быть, теперь в порядке вещей, что актеры «распыляются», что у них множество обязательств, но сконцентрироваться на великом произведении Пушкина им было некогда. Зрители, правда, на спектакль ходят, но все равно... В мрачные минуты жизни мне кажется, что актерам хватает того, что мы уже сделали. Что я зря их потревожил. Помните, что сказал Лермонтов в «Тамани»... — Про мирную жизнь контрабандистов, которую герой нарушил? Но это неправда, я вижу, как репетируют... — Они тоже считают, что я не прав, что я такой-сякой, немзанный, но если они правы, то почему не следят за своей формой, за формой спектакля? Впрочем, разговоры на подобные темы велись у нас и раньше. На одной из дискуссий присутствовал Николай Робертович и коротким сонном выступлением поставил точку. «Просит человек — сыграйте, как он просит, а потом по-своему. Я Юру знаю — если вы сделаете лучше, он примет ваш показ»... Восьмью превысить свои полномочия, но с Эрдма-

фантазировал пространством — Платонов по объему надо делать на большей сцене, но в это время выпустил «Живого», и мне показалось, что одна работа может чем-то повторить другую. Существовало и еще одно обстоятельство, которое работу над «Самоубийцей» задерживало. Пьеса Эрдмана действительно гениальная пьеса и сейчас чрезвычайно по двору, но я позволил себе приступить к ней только тогда, когда решил, что в спектакле должна быть жизнь Николая Робертовича. Его судьба, масштаб его личности, разносторонность таланта.

Такая вот и чья дело, вот почему, кроме кадры, где обитает Подсекальников, на авансцене столь знакомая нам лазерная вышка с площадкой для часового. Охранника с винтовкой на ней нет, зато есть Сочинитель Коля, в роли которого Д. Щербяков, а у подложки вышки, тоже на площадке, — артист К. Желдин — академик Миша (так звал Вольпина его друг) и Капитан — В. Семенов. И еще один — Р. Джабраилов — он тоже на верхней площадке и заранее вроде бы не предвиделся, возник на одной из репетиций импровизационно и оказался очень кстати. Он подыгрывает происходящему и то словами, то ударом в ладан, то резким выкриком его комментирует. Тексты четверки написаны Любимовым, но не столько от себя, сколько от Эрдмана. Либо он Эрдмана впрямую цитирует, либо, когда предлагает нечто самостоятельное, стиль автора пьесы, его манера старается следовать неукоснительно.

ени), который сидит на груде папок — «Дел», и, когда Сочинитель произнесет однажды «Мейерхольд», старательный, но безразличный эвдеишник занесет в «Дело» новое имя — Меренгольд. Достойно этого намека — сказали бы элегантно, но материя не та, язык не поворачивается, чтобы еще одна, и еще более трагическая, судьба встала перед глазами. Искусство есть искусство, ничто его не заменит. Так же, как в свое время на репетициях «Бориса», «Пира во время чумы», так и теперь Любимов часто произносит авторский текст, но не столько для того, чтобы его запомнить (хотя и такое бывает), а чтобы подчеркнуть размер, внутренний ритм, поэтическую природу пьесы. Хотите верить, хотите нет, но текст «Самоубийцы» звучит у него как белый стих. Исполнители, особенно В. Шаповалов — Подсекальников, эту манеру уже «схватили», и оказалось, что она дает неожиданный (для меня, разумеется) эффект. Сдвигает характер происходящего в сторону гротеска. — Эрдман предпочитал вступать в разговор, когда у него была фраза, реприза. И пьеса написана с точностью репризы — не исцельте убрать ни одной запятой, ни одного знака препинания. Если играть ее в той бытовой манере, в которой играют про жизнь в коммунальной квартире, ничего не получится. «Самоубийца» — поэтическая пьеса, она требует особой выразительности, особой пластики, особого всего. Замысел виден, схема



● Состояния его души, или Юрий Любимов во время репетиций. ● Сцены из спектакля Театра на Таганке «Самоубийца». Фото А. Бутковского

ЭКРАН И СЦЕНА

19 июля — с. 18-9

ИДУТ РЕПЕТИЦИИ

Юрий Любимов:

«ИГРАЙТЕ
ТАК,
ЧТОБЫ
СПЕКТАКЛЬ
ЗАКРЫЛИ»

Когда четверть века назад появился «Добрый человек из Сезуана», имя Юрия Любимова на тогдашнем театральном небе заблистало столь ярко, что даже у самых убежденных ревнителей «подножного реализма» не хватило смелости выступить против.

Театр набирал силу, но чем прочней становилась его репутация, тем больше мрачнели лица блюстителей... Блюстителей чего? Всего, пожалуй, что мешало жизни искусства и вообще жизни.

Вот тут-то и началось. Стала складываться другая репутация, и ради справедливости надо признать, что складывалась она не без основания. Точнее — с полным основанием. Любимов и его группа с крепким единомыслием, редкой последовательностью и об-

щим талантом выступали против командно-административной системы. Определенные Гавриила Попова еще не было произнесено, но коль скоро в наши дни оно вошло в обиход, грех им не воспользоваться.

Спектакли теперь если и получали «право на жителство», то после второй, третьей, а то и четвертой

сдачи начальству. А потом наступила пора всеобщих запретов — унижительных и выматывающих.

Чем кончилось — известно. Когда же наступила пора новых встреч, ветер радости подул в таганковские паруса с освобожденной силой. Шквал рецензий, документальных фильмов, передач буквально об-

рушился на Любимова, и невольно пришла мысль о спокойной гавани. Пришла, однако, напрасно. «Играйте так, чтобы спектакль закрыли», — наставляет режиссер актеров, выпуская в свет еще одну, «безобидную» премьеру. Оставалось во всем верным себе.

Читайте 8—9 страницы.

